

но паче всяк (о пременении имени неведый) без сомнения бы те книги приял яко добры, и яко Богослова благочестие и премудрости творение».⁵⁵ Предложение Крижанича царю Федору Алексеевичу сделано не без доли лукавства — это попытка обмануть несложным маневром бдительность церкви. Но не в этом историко-культурное значение факта. Самый маневр, предлагаемый Юрием Крижаничем, свидетельствует о глубоко укоренившемся и до петровских времен дожившем сознании, объединявшем в понятие мудрости античное наследие, как и святоотеческие произведения, и видевшем в мудрости, на каком бы языке она ни говорила, чье бы имя ни носила, единую развивающуюся божественную и человеческую, человеческую и божественную Правду. Это устанавливаемое памятниками отношением древнерусского общества к мудрости само по себе является философским и гуманистическим. Оно дополняется сложившимся в XIV—XV вв. на Руси учением о Правде, крупницы которого, рассеянные по многим источникам нашей письменности, давно пора собрать вместе. Это учение увенчивают в XVI в. прекрасные слова Феодосия Косого: «Все люди одно суть у бога, и татарове, и немцы, и прочие языки!».

Когда Юрий Крижанич предлагал царю Федору своего Псевдо-Григория Богослова, он, может быть, руководствовался не только соображениями, которые изложил царю, но и опирался на фактические прецеденты. В древней русской письменности, в самом деле, имеется Псевдо-Григорий Богослов, а именно: «Разумения еинострочныя Григория Богослова», которые есть не что иное, как изречения из комедий Менандра. Если однажды был назван Григорием Богословом Менандр, то, и в самом деле, почему в другой раз не назвать Григорием Богословом Аристотеля?

Вопрос о том, где произошла замена имен в случае, когда Менандр был выдан за Григория Богослова, на русской ли почве или на греческой, остается открытым. По мнению М. Н. Сперанского, эта замена произошла в Греции. Это было бы тем более характерно в интересующем нас отношении. Если на родине Менандра возможно было существование его изречений под псевдонимом Григория Богослова, то, следовательно, были точки, сближавшие этих двух авторов. Так именно и считал М. Н. Сперанский. Он пишет: «Григорий Богослов, воспитанник классических преданий и античной школы, совмещал в своей деятельности и то и другое культурное течение, являясь не только одним из первых столпов христианской литературы, но и одним из последних по времени представителей античной художественной мысли и формы: он один из немногих христианских писателей, которого как поэта высоко ставила и нехристианская литература. На почве таких настроений эпохи, на почве „нейтральной“ морали первых веков христианской письменности, взаимодействие между античным памятником такого особенного характера, каков Менандров монотих, и писанием полуантичного писателя Григория вполне понятно».⁵⁶

⁵⁵ Послание Крижанича царю Федору Алексеевичу, стр. 16—17.

⁵⁶ М. Н. Сперанский. Переводные сборники... стр. 411—412. Влияние Григория Богослова, этого «полуантичного писателя», как его называет М. Н. Сперанский, на русскую культурную мысль обнаруживается и за пределами философской и религиозной области. Оно прослеживается, между прочим, и в русской исторической повести XVII в. В известном описании весенней природы Катыврева-Ростовского, проникнутом гуманным искренним чувством, встречаются строки из нашего «полуантичного писателя»:

Катыврев-Ростовский

Тогда ратай ралом погружает и сладкую
бразду прочертает и плодотвора бога на
помощь призывает... (А. Н. Попов.
Изборник. М., 1869, стр. 297).

Григорий Богослов

Ныне ратай рало погружает, горе взирая
и плодотвора призывая, и к ярму приво-
дится вол орный и прочертает сладкую
бразду и надеждами веселится (Григорий
Богослов. Творения, ч. IV. М.,
1889, стр. 121. Русский перевод).